

У ВЕКА БУРНОГО В ДОЛГУ

*Поэтическая судьба
Леонида Чашечникова*

БЛАГОСЛОВЛЯЯ СЧАСТЬЕ И ДОБРО

Всем известна простая истина: город – это не бетонные коробки зданий, а люди, населяющие его. Говоря о городе Таре, вспоминают воеводу Андрея Воейкова, разбившего хана Кучума, артиста Михаила Ульянова, художника Николая Кальницкого... Можно назвать много имён выходцев из Тары, которыми гордится регион и вся Россия. Среди них особое место занимает Леонид Чашечников.

Леонид Николаевич – без преувеличения культурный символ города. Он в очередной раз доказал, что сибирская глубинка способна рождать больших поэтов. Настоящих, от земли, знающих мир вокруг и способных рассказать о нём. Его не раз называли одним из талантливейших поэтов своего поколения, и во всех городах, где «певцу русской печали» довелось жить – в Омске, Астрахани, в Подмосковье, – о его стихах осталась добрая память. Но Тара – место творческого становления и мужания, а потому город для Чашечникова особенный.

Михаил Белозёров, знавший Чашечникова с юности, вспоминал момент, когда впервые узнал, что друг пишет стихи: «... он серьёзно попросил меня послушать и сказать своё мнение. Тут же заиграл баян, и запел Лёша, пытаюсь делать это весело, но получалось печально: "Ну не хмурь же ты брови свои, нам с тобою поют соловьи...". "Это не Есенин, – сказал Лёша, допев до конца. – Это – Леонид Чашечников. Причём с собственными словами и музыкой. – И потом, усмехнувшись, добавил: – Между прочим, и собственным исполнением...».

Начав работать в районной газете «Ленинский путь», Леонид Чашечников влился в замечательный творческий коллектив.

Работал бок о бок с поэтами Яковом Горчаковым, Михаилом Белозёровым, Михаилом Сильвановичем. Трудясь в отделе писем, вместе с приятелем и коллегой Сильвановичем они исколесили весь район в поисках интересного материала для статей, очерков, стихов.

Жизнь помотала Чашечникова по свету. Из деревни Воскресенки Седельниковского района – в село Екатерининское, затем – в Тару, Омск, оттуда – в Астрахань и Подмосковье.

Когда в 1994 году Тара отмечала свой четырёхвековой юбилей, был среди гостей и Леонид Николаевич. Со сцены он читал землякам свои стихи, да как читал! Пронзительно, эмоционально, проживая каждую строку.

И сейчас, спустя десятилетия, стихи большого русского поэта помнят и любят земляки, которым он адресовал со сцены свои яркие строки.

Леонида Чашечникова не стало в 1999 году, но память о нём живёт. Книги выдающегося земляка читают, а на тарской земле с 2013 года проходят региональные литературные чтения имени Леонида Николаевича Чашечникова. Четыре года назад первые Чтения собрали гостей из разных городов России, Украины, Белоруссии.

В марте 2015 года состоялись вторые Чтения, на которых жителям и гостям города была представлена литературно-музыкальная композиция на стихи поэта в исполнении артистов Северного драматического театра имени М.А. Ульянова. Это выступление для многих стало настоящим открытием. Честный, искренний и абсолютно безжалостный к себе Чашечников оказался близок каждому.

**ВСЁ КРОМЕ СМЕРТИ –
БЕДА НЕ БЕДА!**

На полках библиотек Омской области всё ещё можно отыскать потрёпанный томик стихов Леонида Чашечникова «Русская Голгофа». Эта книга вышла из печати в послед-

ний год двадцатого столетия. В последний год жизни автора. Задуманная как первый том дилогии, она так и осталась в одиночестве. Хлипкий книжный блок рассыпается, страницы проклеены скотчем, обложка погнута и вышаркана так, что различить на ней можно лишь изображение креста и надпись «Русская...».

Книгу на север Омской области привёз Михаил Сильванович. Так главное детище поэта вернулось в края, где «в тридцать третьем, выюжном марте, / В избушке на краю села...» родился громогласный младенец, названный Лёней. Ни «повитуха Марфа», ни счастливая мать, Мария Чашечникова, и подумать не могли, что этому крошечному живому существу предстоит стать одним из крупнейших поэтов своего времени.

В глухой сибирской деревушке Воскресенке, где «знали горе и нужду, / Трудом мозоли наживали», прошло детство будущего поэта. Главным испытанием, закалившим волю юного Лёни, стала война, прокатившаяся по судьбам каждого селянина. Далёкая, перемалывающая полки и дивизии, она и в тихой провинции ощущалась обжигающе и явственно.

В поэме «Времена и сроки» – одном из главных исповедальных произведений поэта – Чашечников так описывает начало кошмара:

Война крестьян застала на покосе.
Приехал в табор третьего звена
Под вечер водовоз, старик Абросим,
И, заикаясь, выдал: – В-война!

Бабёнки в слёзы сразу – охи, ахи,
А мужики – в дебаты о войне,
Хоть у самих холщовые рубахи
Примёрзли к мокрой от жары спине.

Воспоминания детства горьки и печальны, они отчётливо врезались в память впечатлительного мальчика, застыли перед глазами чередой страшных картин:

Не оправдать любой войной суровой
То, как, бывало, выла детвора,
Когда у вдов последнюю корову
За недоимки гнали со двора.
Не позабыть, как сторож, дед Василий,
Насыпал на току зерна в пимы –
И старика за это посадили –
Он так и не вернулся из тюрьмы.

Горести тыла становились тяжёлым эхом рокошущей на западе войны, а мальчик Лёня наблюдал за жизнью односельчан и ужасался тому, что переживает его страна и близкие люди. Потому, когда на сломе эпох россияне потянулись на отдых в Европу, поэт писал:

Берлин и Кёльн, Мадрид и Рома, –
Всё «эль» да «эр» – петля, топор...
Я видел ту Европу дома
Такой, что страшно до сих пор.

Много позже он написал стихи, в которых признался, что досматривал за сыном сны о войне, тем самым ограждая ребёнка от ужасов фронта и тыла, обрекая себя на очередные сеансы кошмарных воспоминаний.

Чашечников стал тем человеком, который имел полное право написать: «Берегите Россию! В ней тесно солдатским могилам», ведь сам видел, как земля полнилась могилами в сороковые и позже, когда уходили израненные воины. Об этом одно из самых сильных его произведений – «Я вновь про это». По сути, Чашечников в одном стихотворении создал локальный эпос о селе и поколении ушедших. Этакая «Илиада» без возврата, где к месту всё, в особенности рефреном звучащее:

Я вновь про это, вновь про это –
Я вновь про баб да мужиков.
Стоит в тайге за Гарой где-то
Деревня испокон веков.

«Испокон веков» – вот с чего начинается эпос, уводя нас в дремучую древность. А как давно это было? И поэт отвечает:

...кто упомнит? –

Ни Бог, ни мох на скатах крыш.

Вот уже и сам Господь не помнит, насколько стара деревенька. А поэт не просто родился, а «явился, чтоб продолжить род», и в нём «мужичья стать и прыть». Грядущим поколениям, что продолжают род, стоят напоминанием обелиски, которые «...простоят ещё века», напоминая живущим о бессмертном подвиге ушедших.

Для него этот возвышенный тон, переводящий стихотворение в эпическое, само собой разумеющийся. Поэт – часть эпоса, он вешает изнутри, прозревая прошлое и будущее, полынно-горькую жизнь в оба конца на долгие годы.

Нравственным установкам и жизненным принципам Лёни во многом помогло сформироваться его детство. Мальчик, который рос без отца, всё острее понимал тяготы жизни своей матери и иных женщин села, сравнивая их судьбу с полыньёй, стойкой и горькой. В поэме «Времена и сроки» Чашечников восклицал:

...Какой дурак сказал, что бабы слабы?!

Когда б сбылось желание моё –

Я монумент бы отлил русской бабе

За силу и терпение её.

С раннего детства зрела в мальчике любовь к Родине, к суровой сибирской природе и живущим на этой земле людям. Для него «великая Россия / С этой же деревни началась».

Многому Леонида научили дед-лесник «седой и властный», «ласковая бабушка» и мама «разбитная, молодая». Старик надеялся, что внук продолжит его дело, говоря соседям: «Ращу я внука-лесника / На смену прадеду и деду». Однако судьба повлекла Чашечникова по городам и весям, уводя далеко от отчего дома.

НЕ ВАЖНО, КАК ЖИВУТ ПОЭТЫ, БЫЛА Б ПОЭЗИЯ ЖИВА

Поэта помотало по стране. Жизнь настырно была «в душу, душу выбить силаясь», но испытания всё сильнее закаляли характер Леонида.

Меняя места жительства, Омск на Астрахань и Подмосковьё, Иртыш на Волгу, Чашечников силится убежать от накатывающей ностальгии. На берегах Волги ему чудился плеск Иртыша и мелодия песни «Омские улицы», написанной другом юности Михаилом Сильвановичем.

Вновь и вновь поэт возвращался к теме прошлого, безвозвратно ушедшего времени первой любви. Писал о солдатской вдове Тосе, в которую был без памяти влюблён:

Послевоенные покосы!..

Среди безмужнего бабья

Была одна. Прости мне, Тося,

Что нынче тайну выдал я.

Но лет-то столько миновало!

Быль чернобылом поросла.

О, как ты, Тоська, целовала –

Взахлёб, без меры, без числа!

Но история эта – не бахвальство, а горький рубец на сердце, позволивший многое понять о жизни и признаться, что вдова любила вовсе не юнца, просто «походил я на солдата, / Который не пришёл с войны».

Вся жизнь поэта – череда измен, потерь, предательства. Нескладная и непоэтичная. И хоть порой он восклицал, дескать, «всё, кроме смерти, – беда не беда!», в каждом стихотворении чувствовалась боль. Собственно, Чашечников её и не скрывал. Он был по-мужски, по-мужицки даже, сдержан, но не скуп на эмоции.

Поэт вспоминал юность, но прекрасно осознавал, что осень его жизни на излёте, что «всё меньше дров в поленнице, а впереди – зима». Потому без утайки исповедовался перед читателями в своих стихах. Писал о женщинах, которых любил и которые любили его, о семье, о пристрастии к алкоголю,

о своём и чужом предательстве. Искренне и горько, ведь только такой бывает исповедь человека, который оглянулся и понял, что дров осталось на пару вечеров, а «дни идут на убыль». Он оглядывался и цепенел от ужаса и восторга: «Какие снега отмели и растаяли, Боже! / Какие леса повзрослели и сгнули вновь!»

Чашечникова не нужно идеализировать. Да, в молодости он пил, семейная жизнь разладилась, и вообще поэт скорее пример того, как «не построить дом», не вырастить детей, как разладить всё, что есть. Его можно корить за это, судить (ведь судить других у нас получается лучше, чем заглядывать в себя, верно?). Но одного не отнять – Чашечников признавал свою грешность и открыто говорил о себе:

А все мои невольные грехи,
Никчёмные борения и битвы
Забудутся. Останутся стихи,
Как робкое творение молитвы.

Остались не истории о склоках и сельских девушках, которые якобы почти все перебивали в постели поэта, а стихи – искренние, пронзительные. Шельмовать поздно, ведь «не важно, как живут поэты, / была б поэзия жива!».

Начиная писать о детях, Чашечников в глубине души радовался, что они «с судьбой, на мою не похожей» и не повторили его ошибок. Тут же следовали строки о «жене, разделившей <...> и горечь, и мёд», и вдруг поэт переключался на возвышенное: «Лечу в запредельность и думаю: праведный Боже, / Когда снизойдёт Он и русскую душу поймёт?!».

Возникает ощущение, что строки о семье для него менее важны, нужны, приятны. А рассуждения о том, когда Господь снизойдёт на Россию и поймёт русскую душу, – напротив. Попытка укрыться в стихах от реальности, закутаться в кокон, где поэту комфортнее. Многие века до него искали ответ – не нашли, но Леонид окунался в бурное море вопросов. А жена, которая извела «горечь

и мёд», уходила на второй план. Он художник слова, и житейское ему чуждо.

О месте поэта в мире, о поэзии как судьбе и кресте Чашечников писал часто и с болезненным самобичеванием: «На земле очень мало счастливых поэтов – / Оттого-то так много стихов о любви». Он вновь и вновь возвращался к дилемме любовь / творчество: «...Поэтов бы намного было меньше, / Когда бы у поэтов всё сбылось», и порой кажется, что пытался все житейские неурядицы списать на несовместимость творческого пути и семейной жизни. Поэт признавал, что в любви ему не везло, а в жертву сильным стихам порой приносились сильные чувства: «В любви поэты невезучи сплошь. / Пока научишься строке правдивой – / Десятки раз изранишься об ложь». Убеждённый, что там, «Где властвует любовь – безмолвствуют слова», он не мог жить во лжи. В особенности когда чувствовал «навязчивую горечь поцелуя», когда уже не любит и делает то, за что, точно знал, его осудят: «Пусть люди говорят про долг и всё такое – / Я больше не могу! Я у любви в долгу».

От спутницы же поэт требовал невозможного, оттого чувствовал даже рядом с любящей женщиной «пока ещё не одинокость, а одиночество души». Когда же эгоистичные запросы поэта аукались непониманием или предательством, он мстительно восклицал:

...Чтобы ты заметалась, завыла
Одичалой волчицей по мне.
Чтоб тебя от прозренья знобило
И, тщету свою бабью кляня,
Ты однажды себя разлюбила
И опять полюбила меня.

Последним словом в стихотворении звучит высокомерное «меня», а затем – точка. И тем удивительней, что, написав это, не слукавил, не попытался представить свои душевные метания в выгодном свете. Написал всё, как есть, ведь поэт – такой же человек, обуреваемый страстями.

О страстях подробнее... Чашечников не завидовал деньгам и славе. Его зависть – к гениальности поэтов, которые были способны создавать шедевры:

А был ли я завистлив? Нет и да.
Мечтая о грядущем воскресении,
Завидовал Рубцову и Есенину –
Богатству или власти – никогда!

Подчиняя свою жизнь творчеству, всецело отдаваясь поэзии и раздражаясь, когда его порывов не понимали, Чашечников неминуемо оставался один. Он констатировал, что «был любимым лучшими из женщин, / Но Господом с поэзией повенчан, Остался одиноким навсегда».

Но гнетущая одинокость виделось ему не результатом собственных действий и собственной неуживчивости, а закономерной ценой за дар поэзии. Настоящим художникам слова, отмеченным «печатью пророка», всегда одиноко, их никогда не понимают. Порой, при прочтении стихов Чашечникова, возникает острое ощущение, что временами поэт сам нагнетал непонимание, рушил отношения, чтобы душа и строка наполнилась горечью. Торжественно Чашечников писал: «По воле рока – до конца, до срока / Все боли мира сходятся на мне».

Для него не было ничего чужого, горе и радость – «Всё это сквозь меня, во мне, моё!» Оттого он честен и предельно самокритичен, боялся фальшивой строки «как расплаты» и жил «у строк в пожизненной неволе». Порой он и рад бы вырваться, но – нет! В каком-то смысле Чашечников – один из тех пленённых солдат, которые «Идут – и не придут с войны», совсем как у поэта Александра Башлачёва: «на второй мировой поэзии / признан годным и рядовым». «Рядовому», отмеченному «печатью пророка», жизненная парабола уже начерчена.

ВЫСОКИЕ ЗВЁЗДЫ

Леониду Чашечникову довелось многое повидать на своём веку. Морские «кружева

прибоя», цветущую степь... Однако, начав писать о чудесах окружающего мира, он неизменно оговаривался, что любые красоты сравнивает с родной Сибирью. Он жил и подпитывался непроходящей ностальгией по невозвратной юности, по сибирской тайге и дому. С годами поэта всё чаще тянуло «Шагать дорогою, которой / Шаггал за воном прадед». Он стремился уйти этой дорогой подальше от всегдашней суеты больших городов, однако «обречён любить и видеть / Глубинку ту из толчеи». Память о доме и глубинной, тихой России – его якорь в море смут «в час, когда закрутит лихо».

Поэт чувствовал, как менялась Россия. Споры суетливого, циничного образа жизни проникали в быт горожан и селян. Тихой Россия уже не будет. Вернувшись в родительский дом, Чашечников рассуждал о лживости и изменчивости нынешнего мира, в котором «сместились года и эпохи», приводя к тому, что «новое – в старом, а в новом – старьё». Всё смешалось в жизни людей и в умах. Пожалуй, лишь напластование истории в народной памяти не давало людям безоглядно броситься в омут страстей:

Как раньше от веры в Исуca не стали
Легко отречься, так нынче в избе
Висят на заборке Столыпин и Сталин –
Два разных предтечи в народной судьбе.

Да и сами люди вокруг жили, «как на кладбище здравого смысла, / Где правда и кривда сошлись на парад». Однако поэт всё чаще вспоминал о малой родине. Там «правда и кривда», но в столице кривда сплошь. А на родине «дороги санные, / Голубые кедрачи». Всё просто и ясно.

Чашечников готов был сорваться, помчаться в родную Воскресенку, в город юности Тару, в шумящий «город зелёный / у могучей реки Иртыша» – Омск. Для себя он давно решил, почему рвётся в Сибирь: «Душу там оставил я!»

Но вместо радостных расспросов Воскресенка «свинцово молчит», а сват, опрокинув стопку, заявил: «Москва виновата. И ты ви-

новат». Туманное существование умирающей деревни, вместе с которой истлевало его далёкое детство.

Если в прежних стихах поэт писал: «Я не люблю людей без корневища», то в поэме «Времена и сроки» старик напугствовал его:

Спокойно поезжай: здесь нет
твоих корней –
И деды, и дядья навечно под крестами,
Не ты один, кому грустить остаток дней
И грезить вдалеке родимыми местами.

Жестоко и правдиво, вот и сам поэт констатировал:

...Мой дом теперь не здесь,
Свалился лес родни, сгноило
корни время.
А что же есть? Москва. Россия.
Совесьть есть.
Есть память прошлых лет и есть
раздумий бремя.

Так же радостно, как в Воскресенку, мчался поэт к друзьям в Тару, хотел повидать своего литературного наставника, поэта, журналиста, фронтовика Якова Горчакова, друга юности Михаила Белозёрова и многих-многих других. Читая одно из стихотворений поэта, мы узнаём, как растерянно и оглушённо он встретил в Таре страшную весть: «умер Яша Горчаков. / Теперь его душа в пределах рая».

Неприветлив и город Омск, куда Чашечников «шёл по жизни сквозь заносы». Он лишь брёл «тихо» и «бесцельно», «Повесив седую повинную буйную голову». Искал потерянную юность и начинал задумываться, где живут его дети, об иных из которых Чашечников и не знал никогда: «И каждая девочка, старше пятнадцати лет, / Мне кажется в Омске моею единственной дочерью». А в итоге восклицал: «Ах, сердце моё! Что мы в жизни с тобой наворочали!» Возвращение означало понимание. В определённом смысле эта строка – аллюзия к «Чёрному человеку» Сергея Есенина, воль-

ная или невольная. Воскресшее в памяти беззаботное прошлое – вот «чёрный человек» Чашечникова. А за точкой далёкое эхо вышёптывает есенинское: «Никого со мной нет. / Я один... / И разбитое зеркало...».

МОСКА ВИНОВАТА. И ТЫ ВИНОВАТ

В стихах Чашечникова величественная природа соседствует с неустроенностью судьбы деревни. Вроде бы: «покосный запах» и «кукушкин плач». Всё пастельно, легко, но вдруг тон меняется, и читателю подставляется разваливающаяся деревня, заросшее подворье:

В село из-за реки плывёт покосный запах.
Парит кукушкин плач на крыльях
тишины.
Осевшая изба глядит, глядит на запад, –
Напрасно ждёт она хозяина с войны.

С горечью поэт рассуждал о том, что было бы, вернись хозяин с войны:

Пью горечь жухлых трав, хмелея,
не пьянею,
Задумчиво брожу заросшею межой.
Родимая земля! Что бы случилось с нею,
Когда бы не лежал солдат в земле чужой?!

Эти стихи не только о послевоенном, тихом и выедающем души ужасе, а о нас сегодняшних. Почему люди разъезжаются и сёла приходят в запустение? Почему зарастают палисады? Здоровые мужики погибли на фронте? Нет же, они сидят перед компьютерами и играют в «Танчики». Люди измельчали. Цивилизация душит их: «Стоит среди лесов и полей многоярусный дом, / Стоит среди деревни, где сущность деревни забыта».

Сытый недостаток нашего времени Чашечников безжалостно препарировал, показав, чего стоит эгоизм:

Глядишь, живёт – не дом, а чаша,
Но справное житьё-бытьё
Позаслонило слово «наше»,
И снова выползло – «моё»!

Это страшное «моё» звучит в его стихах предупредительным рефреном:

Государство, рассуждаю – наше.
Печь вот эта, стало быть, – моя,
И моя в печи из гречи каша.
А тайга за окнами – ничья?
Оттого-то волокут и тащат
И жирует, множится жульё,
Что в ничьё оборотилось «наше».
– Раз ничьё, сам Бог велел – моё!..

Будучи человеком культуры, он часто общался с чиновниками, нуворишами и теми, кто норовит именовать себя новой интеллигенцией. Последние, к слову, самые страшные – жуткие «бандерлоги», уверенные, что именно они – культурная прослойка. Всех их поэт обличал в привычной, безжалостной манере:

Непотопляемый, упругий,
Усвоивший, почём почёт –
Саму поэзию в прислуги
Пристроил за народный счёт.
Чтобы, приплясывая, пела
Под свинг мажорная строка,
Чтоб ублажала только тело,
А ум – не трогала пока.

Это они – кромсатели культуры – обосновались в городах, забыли простую истину – народу «...не прожить без двуединства, / Без братства города с селом».

Спасение же таится в самой деревне. Чашечников описал период посевной, когда типичный сельский мужичок вдруг решился выйти в поле, надев белую навывпуск рубаху и «сотворив земной поклон», а после «добавил: – С Богом, – он, / Хотя навряд ли верил в Бога». Это следование полузабытым традициям, живущим в потаённых уголках народной (генетической?) памяти поразило и самого мужичка, и поэта, который одновременно радовался происходящему и не верил до конца, что новый росток настоящего пробился через года и века. Житель села, человек от земли, шёл по полю, которое

помнило его пращуров, в рубахах навывпуск, с горстями пшеницы, и засеивал его.

А мы вымарываем из своей памяти и души былое. В этом поэту виделась трагедия. Он предрекал пожар: «Клён сгорел. Рябина догорает. / Впереди – и Родине гореть...» Пламя раздувает каждый из нас, мир меняется необратимо, в нём «Коварство правит и металл». А на просторах России забытые всеми сёла ждут, пока проснётся народная память: «В урёме загорской домов одичавшая горстка / Над полюшком белым белесые стелет дымы».

Образ дома крайне важен для Чашечникова. Дом для него традиционно – русский мир, Россия и вписанная в неё малая родина на берегу реки Иртыш. Обязательно нужна река. Без неё никак, ведь тайга, река и память – три кита творчества Чашечникова. В молодости поэт «...мечтал построить дом: / В конце села, за кузней, над прудом», однако в годы зрелости привык к горемычной судьбе поэта, у которого нет своего дома, который шёл по России и по творческому пути, набивая шишки, а каждый приступ боли отзывался новыми стихами.

...А дом с рябиной – будет, как помру,
К нему слетятся птахи поутру
И прошебечут песенку о том,
Как я при жизни – не построил дом.

Поэт понимал, что народ без деревни не выживет, ведь «Сильна Россия и спокойна / Пока крестьянин в поле есть». И пока во круг слагали оды политикам и нуворишам, он писал «Оду крестьянским рукам».

Чашечников не сводил рассказ о деревне к монохромному представлению белого и чёрного. В описываемой им деревне, как и в реальной жизни, все цвета и полутона. Здесь и пьют, и любят, и страдают. Предают и каются, наивно верят в лучшее, но ждут худшего.

А пьют в Сибири здорово,
Размашисто, по-русски!
В пивнушках, под заборами,

С закуской, без закуски.
От слабости, от гордости,
С друзьями и без оных,
Глуша обиды-горести
Вином и самогоном.

Обсуждение главных тем и животрепещущих вопросов ведётся за столом. Этакое пьяное сельское вече перемалывает одну новость за другой:

Их мозг сверлит отчаянно
Иной вопрос, признаться:
Случайно, не случайно ли
Глупеет нынче нация.
Случайно, не случайно ли,
Нахально иль законно,
Свой лик несут начальники
В народ, аки икону?

Селяне у Чашечникова не глупы, как это показано у некоторых поэтов, не мудры, а по-детски наивны. Они такие же, как он, точнее он – такой же, как они. Селяне спрашивают у городского жителя, будто у светоча знания, не понимая, что он ни о чём новом им не расскажет. Отвечая на вопрос, чего теперь ждать, он сообщал: «– Не ведаю, / Но будет худо, братцы!» Предощущение грядущего пожара не оставляло. А иначе и не может быть, ведь по всей стране «... Стоятobeliski, как надолбы, / Пред новою сечей большой». Чашечников постоянно ждал слома, новых испытаний, не привыкший жить спокойно и мирно, уверенный, что в спину вонзится нож, и понимающий – нужно успеть высказаться.

Россия в представлении поэта – страна, «которая вечно кого-то и что-то мучительно ждёт. При этом всё в мире не случайно, всему есть своё место в божьем замысле. Даже листья на деревьях нужны, «Чтобы присел усталый путник в тень», добро и зло тесно сплетены. «Зарю предвещая, кричат петухи в полумгле», и кажется, что добро победило, «Но вороны взмыли в ненастное плоское небо». Быть может, и Россия несёт свой крест, проходит своим путём. Однако небо

над Россией родное для поэтов и птиц – перелётных, парящих под облаками и за облаками, витающих в облаках. «Не всё то небо, что у нас в России, / Но, птицы, ваша родина – у нас!» Чашечников и сам, как та птица, улетел, чтобы вновь и вновь возвращаться на родину, пусть и в воспоминаниях.

Я ВЫПУСТИЛ ВСЕ РАДОСТИ НА ВОЛЮ

Осень – пора увядания, и в последние годы жизни поэт чувствовал, что осень его жизни заканчивается, «отцветает душа». Всё больше сильных, исповедальных стихотворений выходило из-под пера Чашечникова, но «когда деревья осенью цветут – / Они цветут обычно перед смертью».

Когда Чашечникову было уже под пятьдесят, он окончил Высшие литературные курсы при Литинституте имени А. М. Горького, однако к этому времени уже был состоявшимся поэтом и гражданином, имел своё мнение по самым разнообразным вопросам, а об истории России, в частности о революционных событиях семнадцатого, по словам Михаила Сильвановича, обладал энциклопедическими знаниями.

Поэт много в жизни натворил. Пил, «куролесил», и сейчас, когда Чашечникова активно ругают за эгоизм, тяжёлый характер, стоит вернуться к стихам поэта, чтобы понять, что он был сам себе безжалостным судьёй. Михаил Сильванович писал: «Надо прочесть и перечесть всё им написанное, и ответ придёт сам собой – это типичная жизнь таланта, умещённая в один мотив, в одну песню, в которой ни строчки, ни слова нельзя перепеть иначе».

Пожалуй, лучше, чем Сильванович, о Леониде Чашечникове не писал никто. И не напишет, ведь он на протяжении всей жизни был лучшим другом поэта и прекрасно понимал, чем жил Чашечников, во что верил и к чему стремился.

Вслушивая очередную порцию упрёков в адрес покойного друга, Михаил Иванович отвечал, что Чашечников «трем инфаркта-

ми с перерывами в несколько лет заплатил за всё, что выпало ему по судьбе».

Всякая жизнь для человека – дорога. Путь от младенчества до старости, за которой маячит неизбежное. Нередко в стихах Чашечникова встречаются рассуждения о дороге и жизненном сроке, отмеренном поэту Господом.

Над бесконечностью дороги
Трепещет алый стяг зари –
И лик Христа на стяге этом –
То правды свет и жизни цвет!
Для православного поэта
Иного не было и нет.

Он не жалел себя, стремясь пройти по жизни достойно, оставив после себя сильные, честные строки. И пусть люди, не понимающие внутреннюю кухню литературного творчества, усмеваются: «ну да, "садил" сердце, вписывая строчки в блокнот...». Но читая: «Вчера, над строчкой среди ночи, / Зажало сердце – хоть кричи», веришь поэту, ведь именно такое, самосжигающее бдение над стихами присуще не просо поэтам, а настоящим «демиургам языка». О таких писал санкт-петербургский поэт Игорь Царёв:

...Но кто бы знал, какой ценой
Им достаётся почерк лёгкий,
И сколько никотина в лёгких,
И сколько боли теменной,
Как, прогорая до трухи,

В стакане копятся окурки,
Как засыпают демиурги,
Упав лицом в свои стихи.

Чем не портрет поэта? Друг и соратник Чашечникова, Михаил Сильванович в предисловии к крайней, посмертной книге друга «Цветы и тернии любви» писал: «Сердце разорвалось во сне. Смерть оказалась легче жизни, в которой он маялся и слишком долго был одинок – под конец остался в своей однокомнатной квартирке вдвоём с котом Шуркой».

Стихи и проза – вот то богатство, выжимка душевных терзаний, путевые заметки идущего по стезе пророка, что осталось нам в наследство от Леонида Чашечникова. Мы – страна крайностей, «У нас ведь как: молитва или мат», и Чашечников прекрасно понимал русскую душу, будучи предельно откровенным. Он рассказал о себе, но рассказал так, что каждый может задуматься и найти ответы на множество терзающих нас вопросов.

«Когда человек ушёл, – писал Михаил Сильванович, – ничто уже не может ни убавить, ни прибавить к его достоинствам и недостаткам, если, конечно, полностью исключить лжесвидетельство. Но можно бесконечно итожить крупички опыта, оставшегося от общения с ним». Впрочем, Чашечников не ушёл, он растворился в своём бессмертном народе, как и мечтал. Финал для настоящего демиурга.